



**СОЛНЫШКО - ВСЕМ**

Владимир Данчук  
**Солнышко – всем (сборник)**

МОФ «Родное пепелище»

2014

УДК 82-32

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6 - 44

**Данчук В. И.**

Солнышко – всем (сборник) / В. И. Данчук — МОФ «Родное  
пепелище», 2014

ISBN 5-98948-017-3

В книге собраны рассказы о детях разных поколений, начиная с Великой  
Отечественной войны и до наших дней.

УДК 82-32

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6 - 44

ISBN 5-98948-017-3

© Данчук В. И., 2014

© МОФ «Родное пепелище», 2014

## Содержание

Валентин Николаев. Кусок хлеба	6
Владимир Чугунов. Деревенька	16
Конец ознакомительного фрагмента.	37

**Владимир Данчук, Валерий  
Сдобняков, протоиерей Владимир  
Чугунов, Валентин Николаев  
Солнышко – всем**

© В. А. НИКОЛАЕВ – текст

© В. А. ЧУГУНОВ – текст

© В. В. СДОБНЯКОВ – текст

© В. И. ДАНЧУК – текст

© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, верстка

## Валентин Николаев. Кусок хлеба

### *Рассказ*

И в наш дом вернулся отец.

В длинной солдатской шинели, с мешком на плече и с лёгким пустым рукавом. Он вошёл вечером, на закате, когда мы с матерью молча чистили возле пыльного солнечного окна перемерзлую картошку. Небритый, худой, отец неловко, одной рукой обнял сунувшуюся навстречу мать, улыбнулся, а мешок медленно пополз с плеча, и вот скользнул по рукаву, качнулся на согнутом локте – и улыбка отца погасла... Но всё равно теперь мы были самыми счастливыми людьми в деревне. Ещё бы. – Жив!

И другая жизнь пошла в доме: запахло махоркой, резиновым клеем; рыбачьи иголки появились на столе, молоток, рашпиль... На следующее утро отец надел довоенный пиджак, фуфайку и ушёл на улицу. Он долго ходил возле дома, брал в руку то молоток, то клещи, то топор... Всё начинал что-то делать – стучал, тесал, но тут же бросал, брался за другое... за третье.



Я ходил за ним по пятам, молча сердился. Но потом понял: «Руку учит...»

Поспешной, взбалмошной была та памятная весна. Везде только и слышалось о скорой победе: у колодца, у перевернутых на берегу лодок...

А вместе с победой отчаянно наступала весна: повсюду таяло, журчало, парило. Днём и ночью летели птицы. Скворцы, привыкая, задумчиво обсиживали берёзы возле дома. Угольно-чёрные с крапленой грудью, будто обрызганной семенами укропа, отдохнув, они начинали высвистывать. Над озером радостно вскрикивали кулики, чайки, плакали чибисы...

Всё жило, торопилось.



Близилась Пасха, потом Первое мая, но главное – начало рыбного лова: внизу под горой истаивали в озере последние зеленоватые льдины, а мутная вода лезла через тын, размывала огородные грядки. В деревне поговаривали снова о рыболовецкой артели (в войну она распалась), считали людей – и сокрушённо качали головами: одни старики да бабы.

И всё же к лову готовились. Каждый – как мог.

Мы – тоже.

Я не знал, как дожидаться, когда отец откроет сарайку, где всю войну хранились наши вентери, сети, перетвор...

– Сопрели, поди, – не раз говаривала мать, – крепкие-то все людям поотдавал, как уходил... говорит, может, и не потребуются больше...

Пыльные кольца вентерей мы вытаскивали на улицу, растягивали по заулку. Я выискивал дыры, помечал их щепочкой или прутиком. А потом в три руки мы с отцом их зашивали.

Дня за два до Пасхи мы осмолили лодку. Многие лодки уж были спущены, завидно качались, тёрлись смоляными боками об игольчатые развалюхи-льдины.

Но ещё больше лодок сиротливо так и валялось по-зимнему вверх дном – не конопаченные и не смолёные: хозяева их где-то всё ещё воевали.

В воскресенье, когда не надо было вставать и идти в школу, меня разбудили затемно, почти в полночь.

На столе слабо горела лампа.

– Ну как, рыбак, до чаек встаём? – спросил отец, глядя своей рукой мои волосы. – Поедешь?..

– Да, не трогай, пусть понежится, и так каждый день в школу... – вступилась мать. – Поехали.

Эти её слова словно подхлестнули меня: разве я мог отдать кому-либо свой первый выезд с отцом!

...И мать осталась стоять на холодном тёмном крыльце под звёздами, а мы по песчаному, затвердевшему от утренника пригорку тихо спустились к озеру.

В чёрной воде шевелили ресницами звёзды, по всему берегу слышался сдержанный говор, взвизгивали уключины, мокро чмокали и плескали вёсла... Все торопились отчалить.

Оттолкнулись и мы. Я сел в вёсла, отец – на корму, править. Весной наше озеро становилось проточным. И поэтому нас легко подгоняло течением.

Между нами куча вентерей громоздилась копной, из-за неё виделась мне только голова отца. Он курил, вглядываясь вперёд. Иногда, когда слышался шум переливающейся воды, начинал толкаться веслом о дно, говоря:

– Отжимайсь, отжимайсь... Слышь, бурлит, как с ножа рвёт – грива... Вылезешь на сухо...

Светало. Мы проплыли через затопленный кустарник, согнали стаю чирков и оказались на тихой, без течения, воде, окружённой кустами. Рядом никого не было, уключины повизгивали где-то далеко. Отец всё покашливал, оглядывался кругом, брал шест, мерял дно...



– Вот тут наша рыба, – сказал он. – Запоминай место. Давай-ка попробуем, пока ветра нет.

И мы сбросили в воду первый вентерь. Я с носа, а отец с кормы воткнули притычи крыльев, потом я прыгнул к вёслам, быстро стал отгребать, а отец с кормы натягивал пятник, и кольца, правильно растянутые, с шипением, пузырясь, уходили под воду. И вот над водой остались только три прямых конца притычей. – Вентерь поставлен! Мы сидим и удивляемся, как ловко, согласно всё у нас получилось... Но отец ещё сомневается. Он велит подгрести мне снова, берёт и качает каждую тычку, для верности пристукивает сверху обухом топора.

Впритык к этому вентеру мы поставили враздержку другие. Потом невдалеке облюбовали новое место...

Ещё не всходило солнце, а уж куча в лодке стала ниже бортов. Лодка полегчала, легко было и нам обоим. Отец что-то мурлыкал, напевал про себя... Я радовался, что теперь будет не тяжело грести.

А на реке шла своя жизнь. Там, за дубовыми гривами, уминая под себя воду, шумели плечами пароходы, пугливо вскрикивали гудками – и из-за голых вершин выскакивали белые шапки пара. В прогалах дубняка мелькали цветные флаги на мачтах, играла на всю реку музыка... пароходы шли первым рейсом в верховья. Где-то на реке были сейчас и те лодки, что отчаливали вместе с нами от деревни. И я потихоньку завидовал им.

Отец глядел, глядел на дубняк и вдруг, будто угадав мои мысли, пристукнул веслом, сказал:

– А что, давай и мы вентеришка три воткнём на стрежне, а?..

– Давай!..

И мы радостные направились туда, где были флаги, музыка, люди... Поднимались по протоке. Здесь течение было такое быстрое, что я грёб почти впустую. Лодка подвигалась только тогда, когда отец подталкивался кормовиком.

«Только бы выгрести...» – думал я, нажимая во всю силу на вёсла, а что будем делать дальше, как-то не представлял. И вот, наконец, мы выскочили, я сразу опустил вёсла, будто достиг конечной цели, – и рвущее течение реки так лихо крутануло и поволокло нас, оттягивая на середину реки, что мы оба испугались, схватились скорее за вёсла...

Насилу вернулись мы к берегу, снова в протоку.

И до чего же быстро нас вышвырнуло обратно в озеро!

Здесь вместе с пеной, брёвнами нас тихо кружило на спокойной воде. Мы сидели оба подавленные. Не говорили и старались не глядеть друг другу в глаза... Каждый чувствовал себя виноватым. У меня ломило спину, жгло обе ладони: на них прорвались мозоли. Не хотелось не только никуда ехать, даже – шевелиться.

И всё же остаток вентерей мы кое-как поставили... Тоже в тишинке, в озере. По-моему отец даже не выбирал для них настоящего места. Поставил так – лишь бы выкинуть...

– Теперь гребни помаленьку к дому, – сказал отец.

И хотя лодка была пустой, лёгкой, а я грёб изо всей силы, мы едва двигались. Я замечал это по грязному остатку снега на берегу: он всё был напротив нас.

Что ж – поднимались против течения. «Если б не мозоли! И зачем захотели в реку? Всё утро пропутались...» – думал я.

Рыбаки возвращались домой.

Лодки, пеня встречной бурлящей водой, шутя обгоняли нас. Им было хорошо – их правильщики бодро взмахивали кормовиками враз с гребцами и лодки совались вперёд, будто кто подталкивал их из воды.

– С помощником начинаешь?.. – кричали с лодок отцу.

– Сколько штук воткнули?

Отец коротко, как бы через силу, отвечал им, а они удалялись. Подбадривая нас:

– Давай, давай... План от рыбзавода большой, всем хватит...

И новые лодки посвистывали мокрыми уключинами мимо нас. А я все ниже стыдливо клонил голову, всё упрямей грёб, стараясь не думать о боли в спине и в ладонях. «Только не надо останавливаться...» – думал я. – Грести и грести... Пусть проедут, а там повернём к берегу – отдохнём...»

– А давай-ка проверим наши первые вентера! – неожиданно весело крикнул отец и кинул кормовик на дно. – Вдруг попало! Подвигайсь...

Он сел рядом со мной, взял одно весло, и мы понеслись наперерез мутно-пенной воде к кустам, где стояли наши первые вентери. Когда вырвались из кустов, я глянул вперёд: на притычах сидели чайки. – «Есть!» – подумалось с радостной надеждой. Первый вентерь оказался пустым. Второй... третий... И вот в четвёртом, как только отец взялся за пятник, притычи крыльев закачались.

– Ого... – вырвалось у отца. Он повыше поднял пятник, и вода в вентере с брызгами всхлеснулась...

– Хорош... – улыбался отец, поглаживая чёрный небритый подбородок. – Вишь, судак забрёл – не зря мучились...

Он присел, вытягивая в лодку кольца вентерья, раздёрнул петлю завязки, ухватил судака, потащил и... вздрогнул от хлёсткого шлепка по воде, от брызг в лицо...

– Э-эх-х... – вырвалось с досадой, и стало тихо.

Отец медленно вытащил мокрый рукав из прорванного вентерья, сел на корму. Долго глядел, не моргая, перед собой, будто наблюдал, как по краю застрявшей в кустах льдины семенил, нервно поддёргивал хвостиком, тиувикал, будто на что жалуясь, одинокий серенький куличок... Судак ушёл... Я вспоминал слова матери и ругал отца: зачем он отдал крепкие вентери людям, а себе оставил гнильё...

Отец сидел не шевелясь, положив на колени красную виноватую руку; солнечные капли блестели на его чёрной бороде, на бровях. И он почему-то не вытирал их.

Я знал это – нет большей обиды для рыбаков, когда рыбина уходит из рук и ещё плеснёт в лицо... Любой рыбак тут же поспешно утирается, как от позорного плевка.

Другое дело – когда рыбина в лодке. Тут рыбак не торопится утираться: он как бы хочет продлить ощущение победы, удачи...

Но отец сидел, не утираясь.

Он тяжело вздохнул и полез за пазуху; достал сложенную во много раз газету. Зажав её в коленях, он ловко оторвал бумажку. Потом, так же помогая коленями, стал скручивать сигарку. Но бумага, намокая, рвалась, красные озябшие пальцы были неуклюжими. Он бросал, отрывал новые бумажки, настойчиво пытался скрутить...

А я и хотел и не мог ему помочь: как-то раз дома, глядя, как мать крутит ему сигарку, я тоже хотел скрутить, но отец строго оборвал меня:

– Не смей... а то сам навадишься...

Виновато, как-то по-детски, улыбнувшись, отец все-таки протянул газету мне:

– Скрути, на...

А прикурил сам, зажав коробок так же в коленях.

И только когда затянулся, обвёл счастливым взглядом всё вокруг, утёрся...

– Ничего... – сказал он, стараясь улыбнуться, и подмигнул мне. Чайки, видя что мы притыкли, опускались всё ниже, вновь намереваясь присесть на притычи. Одна из них, спустившись чуть ли не до самой головы отца, страдая, вскрикнула: «Тр-р-ри-и-э!»

Отец вздрогнул... Потом, медленно подняв голову, он долго глядел, как она скользит в лёгком спокойном небе, выдохнул:

– Э-эх, милые двукрылые...

И отвернулся, вытирая кулаком глаза...

К деревне мы подплывали одни. Лодки больше не обгоняли нас: все давно возвратились. Подавленные и усталые, мы скреблись возле самого берега. Отец подталкивался шестом. Хотелось есть... Есть хотелось всегда, мы, мальчишки, к этой мысли давно привыкли – ведь шла война. Я грёб, взглядывал на отца, и невесёлые думы шли на ум: «Возьмут ли теперь его, однорукого, в рыбацкую артель? Матери тоже нельзя... Она в войну набродилась в худых сапогах – теперь ревёт от ревматизма. А мне?... мне надо в школу... Из-за войны и так пропустил год – хожу только в третий класс...»

– Идут... – мрачно обронил отец, глядя по берегу за деревню.

Я обернулся. Краем поля медленно подвигались к деревне одинокие сгорбленные фигурки. Передние заходили в деревню, а из-за леска в поле выходили новые люди.

Это шли нищие, шли за милостыней...

Каждое утро, идя в школу, мы встречали их в поле, многих знали в лицо. Шли они из окрестных деревень и из дальних, иногда вёрст за десять, как поясняли нам матери.

Мы их жалели: так они были оборванны, обутые во что попало. Бывало, в зимнюю стужу, оглянувшись, мы видели, как у некоторых сквозь рваные, обёрнутые тряпьем опорки краснеют голые пятки...

Было среди них и несколько пленных немцев – высоких, худых, мосластых...

И хоть были они теперь тихи, покорны – на них мы глядели колюче, как зверьки. Знали мы, что это они убивают там наших отцов и братьев...

Эти пленные жили в бараках в лесном посёлке, работали, как вольные, вместе с нашими людьми и никуда не убегали... Это, последнее, удивляло нас больше всего.

Нищие знали, что у нас в деревне живут рыбаки и шли с надеждой выпросить хоть сухую рыбинку, чтобы сварить из неё у себя дома похлёбку. В других деревнях не выпросить было и этого... А сейчас открывалась весна, Пасха, начинался новый рыболовный сезон – и потому шли все с надеждой, шли больше, чем обычно. Дома матери мы ничего не сказали о судаке... – не принято говорить! Мать хлопочет у печки. На всю избу хорошо пахнет свежим, ещё тёплым хлебом. На залавке напротив печи лежит на полотенце небольшой пышный ситник. Хоть он и невелик, но это настоящий хлеб! Из настоящей ржаной муки, а, может быть, даже немного в нём есть и пшеничной!

Я пробовал такой хлеб всего один раз в жизни, в тот день, когда пришёл отец. Это не тот хлеб, который всегда пекла мать из перемёрзлой картошки с примесью чего-то овсяного. Тот сам разваливался, а когда начинаешь глотать, то овсяная ость больно царапает горло.

«Скорей бы завтракать», – думаю я и подхожу то к залавку, нюхаю хлеб, то опять к окну, гляжу на берёзу, где повесили мы с отцом скворечник. Скворец уже вьёт гнездо, и я радуюсь, потому что в моих скворечниках скворцы почему-то не вили, а поселялись наглые бойкие воробьи. Теперь скворец сидит у своего домика, топорщится навстречу солнцу и раскрывает клюв. Я знаю, что он поёт, хоть через двойные рамы ничего и не слышно.

Отец молча курит за столом, глядит в своё окно.

А за печью всё хлопает дверь, там кто-то топчется, сопит, потом слышится распевное:

– Христос воскре-е-сее... Милостинку ради Христа подайте бедной...

Мать вздыхает, чего-то даёт. Вслед за этим слышится робкое «спасибо», неясный шёпот и дверь снова хлопает.

Я привык ко всему этому, почти не слушаю, гляжу на скворца.

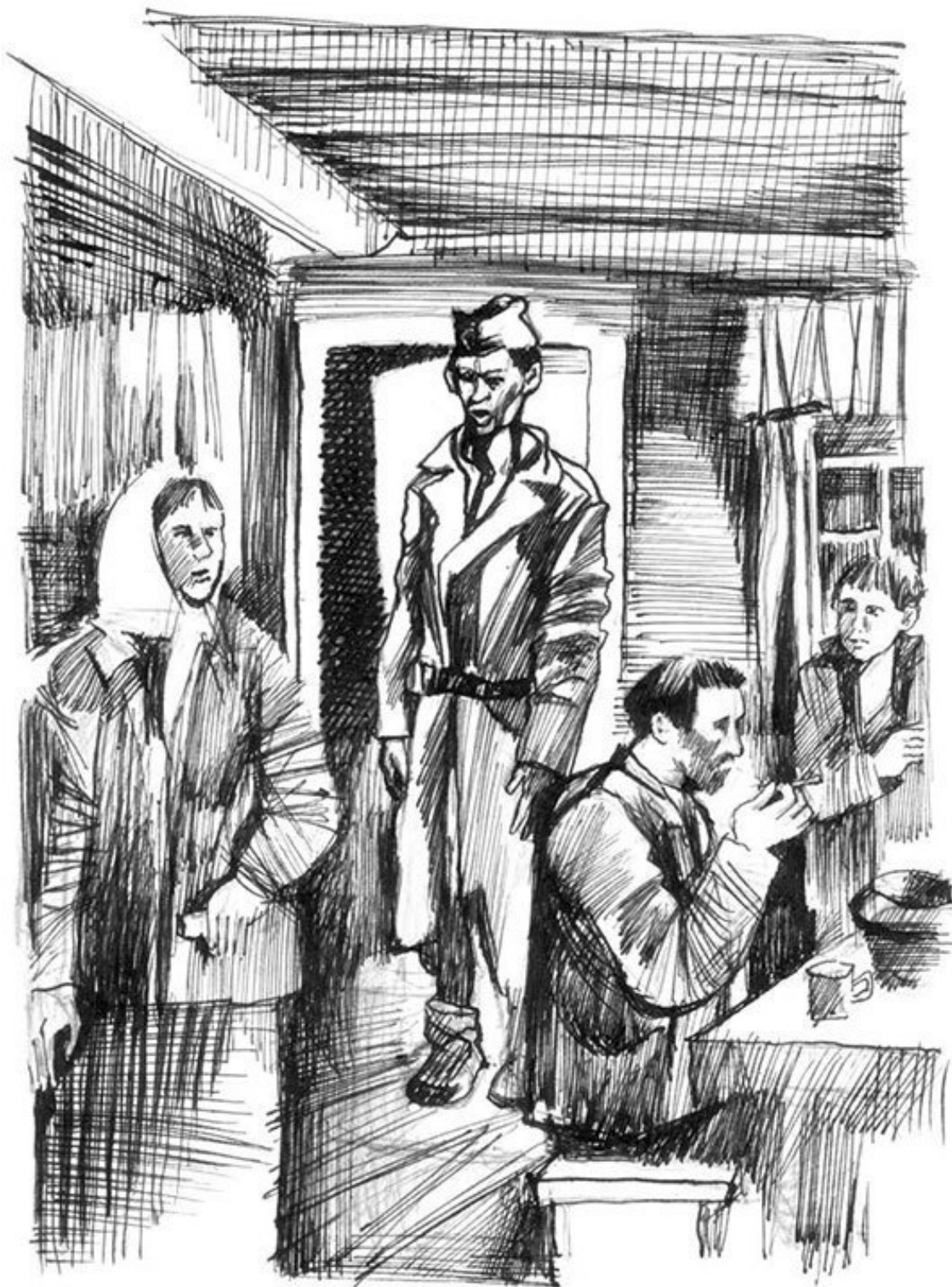
Но всё же меня поражает жалкое, просящее: «... и кусочек хлебца».

«Ситник!» – спохватываюсь я и, боясь своей догадки, иду к залавку...

От ситника осталась только половинка. «Что же ничего не говорит отец? – думаю я. Чего нам есть?..» Мне хочется реветь, хочется взять этот остаток и не давать никому, самому всё съесть.

Я сажусь на лавку, чтобы видеть ситник, и гляжу то на отца, то на мать. Но мать не видит меня, она что-то поправляет в печи ухватом.

Отец по-прежнему курит и, наверное, всё понимает, но молчит.



Опять хлопает дверь, и из-за печи показывается продолговатое костлявое лицо в рыжей щетине и серой, какой-то необыкновенно маленькой шапке на крупной голове: «Это немец!» – догадываюсь я. Он неумело с левого плеча долго и бодро крестится и вдруг говорит отрывисто, не как все:

– Крес воскрес!.. – потом, увидев хлеб, добавляет, – хлебка, хлебка... – и кивает на ситник.

Мать вздыхает, берёт нож, отрезает от ситника тонкий скрой, но вдруг вздрагивает, оглядывается на нас.

Я испуганно перекидываю глаза на отца, – а он давно уж в упор глядит на меня, и рука с сигаркой у него мелко дрожит.

Мать медленно тянет ситник обратно к залавку, замирает и спрашивает робким голосом: – Так что... давать ли?..

Отец молчит, потом очень спокойно кивает на меня:

– Как он...

Некоторое время в избе тихо, слышно, как трещит у отца сигарка.

– Вон картошки дай... и всё... – наконец, не поднимая головы, выдавливаю я.

Мать берёт из парящего чугунок с пола четыре картошины и кладёт немцу в подставленную шапку.

– Спасибо, спасибо... – раскланиваясь, говорит немец. Тут же кое-как торопливо чистит одну картошину и, обжигаясь, ест.

Я с нетерпением жду, когда он уйдёт. Но он всё стоит, ждёт хлеба.

Потом, догадавшись, быстро поворачивается и хлопает дверью.

Мать, схватив щепотку соли, догоняет его в сенях. Оттуда слышатся какие-то резкие, непонятные мне слова, похожие на собачий лай.

– Ох, господи, разве на всех напасёшься, – вернувшись, говорит мать и сыпает соль обратно в чашку. Ну, может, в других домах подадут... – добавляет задумчиво. Потом берёт отрезанный кусок и отдаёт его мне.

Я спрыгиваю с лавки, подхожу к окну и помаленьку откусываю хлеб, который тает во рту.

Отец молча глядит в своё окно.

А скворец на берёзе всё ярится. Мне жаль, что отец не видит его, не видит, как он весь трепещет, и солнце висит прямо над его чёрной крапчатой головой... Я уже забыл о немце.

И вот вижу его в окне. Разбрызгивая грязь, он быстро уходит серединой дороги, не сворачивает, не обходит луж. Идёт он уже из деревни, хотя наш дом всего лишь второй с краю. Только теперь замечаю, что одна нога у него в подвязанной калоше, другая в растоптанном рваном ботинке. Пустая котомка плоско прилипла к изодранной спине.

Бросив сигарку и взвизгнув стулом, отец вскакивает, кидается к залавку. Схватив нож неумело давит им на прижатый к стене ситник и, кое-как отпилив кусок, кричит, протягивая его мне:

– Догони и отдай!

– Ему? – спрашиваю я глазами и не знаю, что делать. Очень медленно беру кусок, но всё стою.

– Беги! – кричит отец.

Меня разрывает зло, а я ещё больше распалю себя; «Они ж тебе руку... Ну отдай, отдай всё! Весь хлеб, все вентери... Будем сидеть без рыбы, без хлеба. Пусть...»

Немца я догоняю в поле. Забегаю вперёд и зло выбрасываю перед ним руку с куском:

– На!..

– Найд! – резко, как отрубает, отмахивает своей рукой немец и ещё твёрже на шагивает вперёд.

– Гад! Не ходи больше... – на всякий случай кричу ему вслед и, как камень, сжимаю в руке кусок.

Вольный густой ветер пузырьком надувает мою рубашку колышет редкие просыхающие на межнике былинки...

И всё сверлит, точит высокое небо беззаботной своей песенкой лёгкий жаворонок.

Я слышу его, как во сне.

## Владимир Чугунов. Деревенька

### *Повесть*

Всё это вспоминается мне, как во сне. Встают перед глазами светлые дни моего детства, той счастливой поры, когда не помнишь, что было раньше, а что потом, и, в общем-то, это не важно, в памяти отчётливо сохранились лишь эти коротенькие эпизоды, но такой удивительной яркости, что хорошо помнятся даже запахи, выражения лиц, глаз, голосов, как это бывает только во сне. Но сон этот – детство, которое, чудится мне, начинается с того цветущего сада, за глиняной стеной хлева, с соломенной крышей, с того дубового бревна, на котором, отдыхая от косьбы, сидит дедушка Миша и, щуря подслеповатые глазки, смотрит на блестящую в грядках укропа, моркови, гороха росу. Я сижу рядом в чёрных трусишках, босенький, усердно натягиваю их на покрывшиеся коростами колени и зажимаю большим пальцем пупок, кажущийся мне чем-то лишним на моём гладком, сытеньком животе.

– Что ты его припёр? Ай стыдишься? Не тро-ож, – говорит дедушка. – Ты, мил человек, через него мамку в утробе сосал, и это тебе знак, что «земля еси и в землю отыдеши», когда помрёшь.

– Да разве и я помру, деда?

– Нешто ты лучше других? Все помрём, милоч, – говорит спокойно дедушка. – Одни прежде, другие немножко погодя, конец один.

Я вспоминаю серое лицо старшего маминого брата, которого хоронили прошлогод, как выражается бабушка, и спрашиваю:

– И всех-всех – в гроб закопают?

– Все-эх, – равнодушно отвечает дедушка.



Я смотрю на него, и меня страшит его спокойствие. Бабушка, половшая неподалёку морковь, с трудом разгибает спину и говорит:

– Ты что робёнку пугашь?

– Чевой-то я его пугаю? – возражает дедушка и, поворачиваясь ко мне: – Ты ай напугался, милоч?

– Нек! – храбро отвечаю я, и, задыхаясь от переполняющего меня чувства хвастливости, говорю: – Я и собак даже не боюсь, и коров не боюсь, и гусей не боюсь, я даже всех волков не боюсь...

– Пра-авильно, – останавливает меня дедушка. – Волков бояться – в лес не ходить. А человеку нужно правильное понятие о жизни иметь. Так? – Я согласно киваю головой. – Ну вот. А ну сказывай живо: отколь дети берутся?

– Из животов! – бойко отвечаю я.

– Та-ак, – одобрительно кивает головой дедушка. – А каким Макаром они туды попадают?

– Ветром надуло! – отвечаю я дедушкиными же словами, когда он на бабушкино сообщение о том, что какая-то «Евдокея опять забрюхатела», сказал: «Никак, ветром надуло».

– Молодец!

И дедушка гладит меня по голове. Бабушка качает головой и безнадежно вздыхает. А я размышляю о том, что животы, вероятно, появляются лишь у тех женщин, которые ходят разиня рот.

На горизонте, немного левее задымлённого туманцем солнца, из бобовой грядки показывается светлая и жёсткая, как солома, Сашина шевелюра. Сашок мне двоюродный брат, я у него в гостях, ему пять лет, и он на год младше меня, под мышкой у него деревянная сабля, в руках бобы.

– А-а, явился? – сразу строжеет дедушка. – А ну, живо сказывай, куда табак с протвиня подевался?

– А я столи столозом яму нанималса? – спокойно отвечает Сашок, жуя бобы и подшмыгивая зелёные сопли.

– Чего-чего?

– Сево слысал.

– Опять разговорчивый стал? Ну-ка, подь сюды.

– Сас! Лазбезалса. Дулака насол.

– Видит Бог, не хотел, а придется тебя высечь.

– Поплобуй. Зыть столи надоело?

– Ещё как попробую! И отцу накажу, чтоб добавил.

– Не сказыс.

– Скажу.

– А я тада тибя залезу!

– Это ещё что за разговоры? – наконец, возмущается бабушка. – Ты что несёшь, изверг? Ты думаешь, с кем разговариваешь? Ты... Я тебе щас покажу... Я те покажу...

Она быстро пробирается меж грядок. Сашок летит сломя голову и ныряет в заднюю калитку. Захватив с бревна одежку, бегу следом, зная, что сегодня ему попадёт.

Прежде чем скрыться за баней, Сашок оборачивается и, размахивая саблей, кричит:

– А твой селтов Хлусев кукулузы насазал! Э-э! – И бежит дальше.

Кукуруза – большая дедушкина тема. Дня не проходит, чтобы дедушка не обругал и кукурузу, и «кукурузника». Сашок прекрасно знает об этом, знает, чем досадить дедушке. Одним словом – изверг.

На задах, за баней, недалеко от мусорной ямы, наш шалаш с видом на кукурузное поле. У входа – огромное железное колесо от сенокосилки, которое мы недавно прикатили с колхозной конюшни. Внутри, на соломе, свернутый змейкой, с хлопком из настоящего конского волоса, маленький кнут, которым Сашок хлопает, как заправский пастух, а я почему-то всё время – себе по шее, да так больно...

– Холос, – говорит Сашок, запихивая в рваную полевую сумку свежие початки кукурузы, – ухозу в голод к тете Масы. Вылосту, зынюу-усь и буду на масыне лоботать.

– А меня покатаешь?

– А как зы! – говорит Сашок, подбирая сопли. – Я слазу на двух масынах буду лоботать. На одной, как у дядь Толи.

– У папы?

– Ага! А на длугой, как у Петлухи в буквале – «ЗИМ» называца.

Сашок тревожно прислушивается, поднимается и поддёргивает штаны.

Мы идём сначала задами. Наш нижний порядок вдоль одноимённой деревеньке речушки, как все говорят, Козэвки. Мы перебираемся по шатким жердям через речку, хотя есть нормальный деревянный мост, с перилами, и тропинкой в бурьяне поднимаемся на холм, где в два ряда расположен верхний порядок. Внизу до рези в глазах сверкает Козэвка, заляпанная лаптями кубышек, на которых частенько дремлют жабы. Сашок безжалостно расстреливает их из рогатки каждый день, чтобы шёл дождь, а дождя почему-то всё нет и нет. За деревней – поля, сияющий, как осколок солнца в траве, пруд, тонкая прослойка леса, какое-то огромное село с голубенькой церковью, опять холмы и целые нагромождения облаков. Куда ни глянь – кругом небо, просторы, подёрнутые сизой дымкой дали. И сердечко моё стучит от восторга, как у воробья.

Из-под лопухов неожиданно вылезает будто специально вывалявшаяся в пыли Светланка Козлова. Глядя на решительную нашу походку, на сумку, спрашивает:

– Куда-то вы настробутились?

– На кудыкины голы, где зывают волы, – не останавливаясь, небрежно отвечает Сашок.

Светланка бежит за нами, дергает меня за руку.

– Ну куда, а, куда?

– В город, – важно отвечаю я.

– И я хочу. Можно?

– Ыссо баб нам не хватало! – презрительно роняет Сашок.

Светланка обижается.

– Сам ты баба!

– Не-э, – останавливаясь, возражает Сашое, – я музык!

И вытирает рукой сопли. Светланка начинает дразниться:

*Неотвожа, красна рожка,  
На татарина похожа!  
Семьсот поросят —  
Все на Саньке висят!*

Сашок кидается за ней. Светланка летит, сверкая пятками, по улице.

Потом останавливается и, вываливая язык, кричит:

– Э-э! Э-э! Всё расскажу, куда подалися!

– А я тада тибя залезу! – грозит ей кулаком Сашок.

– Куда залезешь? – не понимает Светланка.

– Не залезу, а залезу!

– Дурак! То залезу, то не залезу! – кричит она и, мотнув жиденькой косичкой, исчезает в проулке.

Мы двигаемся дальше. За деревней идём дорогой вдоль ржаного поля. Пыль обжигает ступни, брызжет по сторонам. Мне жарко, хочется пить. Я вспоминаю бабушкин квас, что всегда стоит в сенях в маленькой кадлушке, ядрёный, холодненький, только из погреба. Зачерпнёшь, бывало, деревянным, вырезанным дедушкой из липы ковшом и тянешь, пока не задохнёшься. И застреляет в нос, и выступят на глаза слёзы.

– Квасу бы, – говорю я.

– В голоде напьёмса.

– Это ещё когда... я щас пить хочу.

Мы останавливаемся, оборачиваемся и смотрим на деревню, от которой отошли с километр. Мне становится страшно: а ну заблудимся.

Идём дальше. Навстречу едет телега, на телеге дяденька, в чёрном, сильно поношенном пиджаке, накинутом на голое тело. На груди татуировка – восходящее над морем солнце. На голове выдавшая виды кепка. Увидев нас, дяденька подбирает вожжи. Лошадь и так, казалось, спавшая на ходу, останавливается и, свесив морду, закрывает слезящиеся глаза, которые тотчас облепляют мухи.

– Это куда гавша намылилась? – весело спрашивает дяденька. – Ну чё примолкли, моряки, языки проглотили?



– В голод... зыть... – неохотно отвечает Сашок.

– Ишь – в го-ород. От времечко настало – всем городов подавай! А тут вам что не живётся?

– А сто, с голоду столи тут сдохнуть? – огрызается Сашок.

– А кто помер-то? – сдерживая улыбку, возражает дяденька. – Кто? – мы молчим. – То-то! Не те ноне времена. Прежде – было, а теперь... Теперь... эт-та, как эт-та... А! «Всюду жись привольна и широка...» О! – осклабился он. – Учитесь, пока живой... Закурите?

– Мы не курим, – говорю я, заметив, как Сашок сразу наострил уши.

– Это правильно! Курить – здоровью вредить! – И, достав папироску, словно мы его упрашивали, говорит: – Ладно уж, полезайте в телегу. Повезу как графьёв... Поживёте малость, пока женилки подрастут, а там хоть в город, хоть за город.

– Какеи ыссо зынилки?

– А вот приедем на конюшню, я те покажу, какие.

Мы забираемся по оглоблям на телегу. Дяденька дёргает вожжи. Некоторое время едем молча, и меня начинает клонить в сон. Возница взглядывает на нас и по-армейски командует: «Запе-вай!» Сашок на это мастак.

*С неба звёздоска упала  
Пляма жне в калосыну.  
Не пойду в колхоз лоботатъ  
За одну калтосыну.*

– Во-от, это я одобряя-аю! Молодец!

Сашок, польщённый, улыбается и затягивает следующую:

*С неба звёздосъка упала  
Пляма Гитлелу на нос.  
Вся Амелика узнала,  
Сто у Гитлела понос.*

– Правильно! Так, его, курву, так!

*Сашок выводит следующую:  
В систож поле ветел свиссет,  
Солок гладусов молос.  
На помойке нисий длиссет —  
Плохватил яво понос.*

– Чёй-то они у тебя все распроносились?

– Натлескались сиво-нито!

На конюшне дяденька снимает нас по очереди с телеги и говорит:

– А теперь марш домой!

– А зынилку посто не показыс?

– Женилку? – немного озадаченно чешет затылок дяденька. – А это тебе тятка покажет.

Как придёшь домой, сразу проси: покажи, тятя, женилку. Он те и покажет.

Не помню, спрашивал Сашок или нет, но взбучку получил хорошую и, забравшись ко мне на печь, вытирая слёзы, сказал:

– Я их всех залезу.

\* \* \*

– Ба-аб, а баб, ну Расскажи... – клянчу я.

– Ай, не умаялся за день-то бегамши? Не спится, что ль? Не знаю, голубок, чего тебе ещё рассказать... Говорено-переговорено... Ну, да ладно, слушай, коль не спится. Буду со стола прибирать да сказывать... Шли, стало быть, мы раз обозом в город сено торговать. Рано вышли. И немало прошли. Да с обеда потянуло отколе-то ветром, небо заволокло, повалил снег. Враз стемнело. Хоть глаз выколи – в двух шагах ничего не видать. Дорогу смело, куда ехать, Бог

знает. Становимся на ночлег, лошадей выпрягли, к сену подпустили. Сами скутались на возу. Михал Демьяныч мой захрапел, а я сквозь щёлку дивлюсь, как это снег играет. Вдруг из метели как образина какая: ведьма не ведьма, кикимора не кикимора, а такая, как бы не соврать, страшила несусветная, не приведи Господи кому увидеть. Космы-ти по ветру вьются длинные, на концах узлы завязаны, глаза огнём горят синим, как порой уголья в печи, а лапы ну ровно медвежьи. Как это она меня схватит! Как это я закричу!.. – бабушка выдерживает томительную паузу, чего-чего не вообразится в это мгновение, а она: – Ну и проснулась, конечно. Глянь – мамыньки родные! – на снег без боли глядеть нельзя! Небо – окиян опрокинутый! Сани привалило с боков. Мне: «Штой-то ты, Марфа, кричишь?» – «Образины, мол, напужалася».

Смыкаются веки, урчит под мышкой Барсик, попискивает над ухом голодный комар. Хорошо! Кончается одна история, начинается другая. Голос певучий, ровный.

– ... и тогда выполощет матушку сыру землю, аки скорлупу яичную, аки девицу непорочную, аки харатью белую, аки вдову благочестивую. И будет тогда всё не так. Не будем мы боле ни сеять, ни жать, ни косить, ни молотить, потому как всё само собой расти будет...

– И кукулуза?

– А ба! И этот не спит! – всплёскивает руками бабушка. – А ну живо спать! Гляньте в окно! Слышите, стучит? Слышите, ходит? – Она сама стучит по стеклу, топает ногами и спрашивает: – Кто там? А-а, это ты, Дрёма? Ну-ка, ну-ка их... – и говорит нараспев:

*Ходит Дрёма*

*Возле дома.*

*Ходит Сон*

*Близ окон.*

*И глядят:*

*Все ли спят?*

Бабушка задувает керосиновую лампу, становится темно и в темноте страшно. Мерещится это лохматое, косматое, рогатое чудище Дрёма, заглядывающее в наше оконце.

– Слысье?

– Ага.

И мы натягиваем на головы байковое одеяло.

\* \* \*

Просыпаюсь на печи. В окно падают первые пучки зари, тихо в избе, таинственно. Бабушка стоит на коленях перед киотом. Теплится лампадка, едва освещая почерневший лик. Все ещё спят в доме. Мне хочется окликнуть бабушку – и не смею. Не смею нарушить ТО, что происходит с ней. Мне становится страшно, я опускаю голову на подушку и смотрю в потолок на ползающих по нему сонных мух, прислушиваюсь к таинственному шёпоту.

– Господи! Царица Небесная! – доносится до меня её тихий, трогающий до слёз голос. – Как же всех жалко-то! А сколь горя, страданий, слёз. А как трудно жить. Как спасатися? Так тяжело порой дышать, Господи, Царица Небесная!..

И это – «тяжело дышать, трудно жить» – наполняет моё детское сердечко жалостью и недоумением. «Тяжело дышать, трудно жить» – ничего этого мне ещё не известно: мне легко жить и дышать. Я и не подозревал до тех пор, что кому-то тяжело дышать и трудно жить, когда мне так хорошо, так весело живётся. Слёзы навёртываются на глаза, мне жаль бабушку. «Бабушка, миленькая, – думаю я, – вот вырасту, стану большой, буду за тебя огород копать, полоть, а ты сиди, отдыхай...»

Когда я выглядываю другой раз, бабушки уже нет в комнате. И тут я вижу на полу свежую траву, веточки берёзы в кринке на столе.

Уходит дедушка – наш черёд пасти стадо, следом, зевая во весь рот, тётя на дойку, потом дядя, работавший в колхозе пастухом. Бабушка выходит в чулан и вскоре появляется «в рукавах» (самотканой льняной коричневого цвета, в клеточку, кофточке), в туго повязанном на глаза белом платке и длинной, тёмно-синей в горошек ситцевой юбке. Заметив, что я не сплю, зовёт: «Айда со мной в церкву?»

– А Сашу возьмём?

– А ну его. Озорничать только. Не трожь, спит.

Я слезаю с печи, одеваюсь. Прошу покушать, но бабушка говорит, что нельзя, а после «обедни» будет можно. Я не знаю, что такое «обедня» и почему до неё нельзя есть, но расспрашивать не решаюсь: значит, так надо.

Мы выходим. Утро туманное, солнце плавает в мутных клубах. Туман то подымается, то опускается.

– Коли подыметя, дождь будет, – рассуждает вслух бабушка.

Мне весело, я забыл про свою недавнюю жалость к бабушке и скачу впереди то на одной, то на другой ноге. Наконец, падаю и до крови сдираю коленку. Бабушка сердито берёт меня за руку и не отпускает до конца пути. За деревней к нам пристают ещё несколько старушек, и разговор заходит о житье-бытье, о том, что сыновья и внуки табунами бегут в город, в Бога не веруют, сосут папироски, матерятся, венчаться не хотят, «тэтак в блюде и живут», видать, и впрямь настают последние времена...

У паперти толпится народ. Церковь деревянная, в каменной ограде, среди высоченных лип, в зеленой вязи которых вольготно грают грачи и галки. Воробьи неприкаянно носятся над землёй. На колокольне с заколоченными окнами сидят голуби. Время от времени они слетают вниз, где у огромной деревянной бочки с водой им сыплют на землю семечки.

Мы входим в церковь, и тут – свежая трава на полу. Молоденькие берёзки стоят в дверях, у икон, у распятия, в трапезной, у алтаря, у бокового выхода. Свет пыльно сочится в высокие, с решётками окна, в боковую дверь, и достаёт до аналая, на котором лежит икона с изображением сидящих под дубом, за низким столом трёх Ангелов. Все кланяются друг другу, иные звучно целуются.

Начинается служба. Я помню только начало и обрывки, потому что, присев на ступеньку, напротив алтаря, тут же уснул, прижавшись к перилам. И, просыпаясь иногда, как из-под воды, улавливал неслаженное пение клира и голос священника, которому в ту пору было, наверное, лет девяносто. Он был так худ и так слаб, что едва переставлял ноги.

– Вставай, вставай скорей причащаца, – будит меня бабушка.

Складывает крестообразно на груди мои руки, подводит к батюшке, стоящему на амвоне возле маленького столика, на котором стоит серебряная чаша. Поддев дрожащей рукой длинной серебряной лжицей что-то из чаши, он протягивает мне, как показалось, кровь и говорит: «Причащается младенец...» – и называет моё полное имя.

Затем мне дают кусочек просфоры, и я запиваю его тёплой сладкой водичкой.

– Ай, какой молодец! Ай, какой умненькай! – льётся со всех сторон, и я гордо задираю голову, хотя и не понимаю, за что меня хвалят.

– Ну вот, – подходит ко мне Гриша-дурачок или убогий, как зовут его в деревне, лицо у него румяное, сытое, глаза карие, ясные, борода курчавая. Ко всем подряд он нанимается в работники. Ни разу я не видел его унылым. Когда его просят прийти пособить, он всем отвечает: «Хорошо, если не помру я только!» И так весело при этом улыбается, словно помереть для него – плёвое дело. – Ну вот, – говорит он, – теперь и помирать можно!

– Таке молоды и помирать? – возражает бабушка.

– А чего бы чай и не помереть? – без всякого трагического оттенка в лице отвечает Гриша. – Помер – и прямиком в рай!

– Ишь, куда намылился! В рай! Рай-от заслужить сперва надо. В рай! – беззлобно ворчит бабушка, хотя ей самой очень хочется попасть в рай. Уж я-то знаю. Уши она всем этим своим раем прожужжала. Я даже немного представляю, что такое рай. Когда у бабушки в избе все прибрано, чистенько и светло, она вздохнет, бывало, и с тихой улыбкой на лице скажет: «Иш ведь, райко-то как!» Но почему она пожалела своего рая для Гриши, я понять не мог. Или это была не жалость? Тогда что?

Потом была длинная «вечерня», во время которой все стояли на коленях, на четвереньках, а я даже полежал на свежей травке. Во время этих стояний батюшка сам, стоя на коленях у открытых Царских вратах, дрожащим слабым голосом читал длинные молитвы, смысла которых вряд ли кто понимал, но слушали, благоговейно склонив головы.

Но всему на свете приходит конец. И вот уже народ затеснился к «кресту», а затем посочился в распахнутые двери.

С утра было теплее, а теперь небо сплошь затянуто тучами, ветер дует сырой. Бабушка, не обращая внимания на моё хныканье, тащит меня за руку так, что я едва успеваю переставлять ноги, но так и не утягивает от дождя. Он застаёт нас на полпути. Налетает шумной плотной стеной, взрывает мучнистую пыль. Становится холодно, зубы мои постукивают, и я уже не прошу отдыхать.

И как хорошо, как приятно потом забраться на печь, напившись горячего молока с мёдом, упасть в овечьи шкуры и тотчас уснуть.

Просыпаюсь к вечеру совершенно бодрым. Всё бывшее кажется сном: и церковь, похожая на берёзовую рожицу, и невесомое порхание огоньков у иконостаса, и неслаженное пение старушек на клиросе, и трогательный голос батюшки: «О благорастворении возду-ухов... О все-е-ех и-и за-а вся-а-а...»

Раздвигаю занавески: за столом сидит бабушка с какой-то женщиной, что-то вроде нищенки или погорелой, в потёртом чёрном пиджаке, как у дяденьки-возницы, в чёрном платке. Бабушка подливает ей в глиняную миску похлебки, женщина аппетитно ест и рассказывает:

– А руки у Антихриста будут волосатые и будет он поэтому в белых перчатках. Прикинется милостивым, а внутри волк. Волк в овечьей шкуре. И как скажут: «Перепись!» – стало быть, конец. И тогда солнце померкнет, луна превратится в кровь, и запылает земля от востока до запада... Но верным рабам огонь тот не повредит, как трём отрокам, которых в печь огненную бросили, а к ним Ангел небесный сошёл, и ходят они посреди огня и поют! А... – тут она подымает голову, и мы встречаемся с ней глазами.



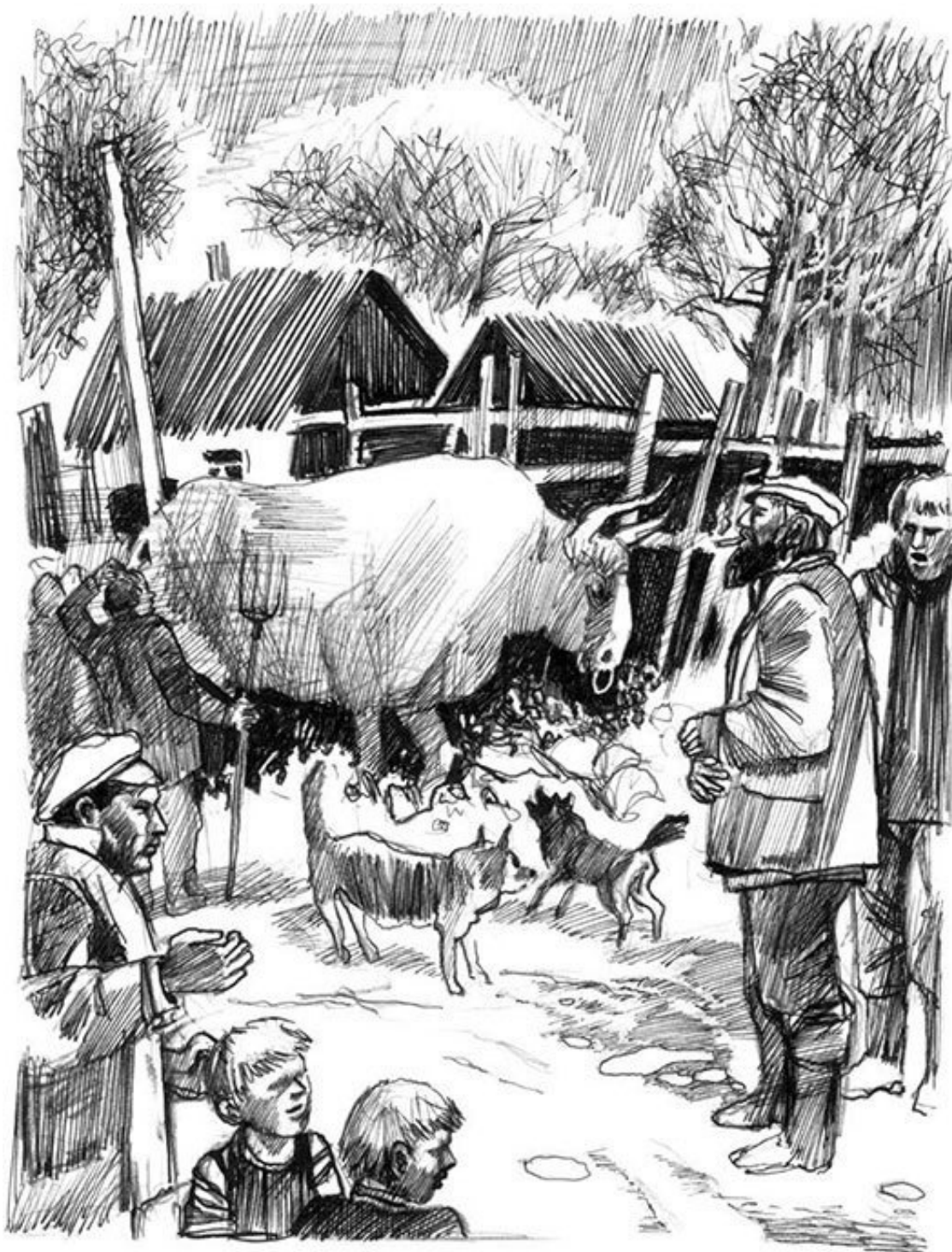
Водворяется мёртвая тишина... И далее разговор их переходит на шёпот. Мне страшны эти слова, как сказка про Соловья-разбойника. Но и на того была управа – Илья Муромец. А коль и вправду всё так будет, придёт Илья и победит Антихриста.

\* \* \*

Только садимся за стол, распаивается дверь и вбегает тётя Валя.

– Ой, мам, что там деется-то! Бык взбесился. На пастбище корову задрал. Пастухи вступились, так он их давай гонять. Страху что натерпелись! Насилу в калду заманили со стадом. Коров на дойку во двор загнали, так он и один на дворе беситса. Пристрелить бы, да как без председателя? Поди, докажи потом. Степан верхом в Егорьевское ускакал.

Нас с Сашком словно ветром выносит из-за стола. Прибегаем на ферму. Толпа народу: мужики, бабы, дети. В калде, у огромного лопуха, стоит огромный белый бык, с железным кольцом в ноздрях. Глаза кровавые, страшные, он ревет, высуня язык, кося глазом и пуская пену. Копают под собой землю, поводит рогами. Две собаки крутятся перед его мордой. Пастухи подзадоривают их. Мужики ругаются, другие спорят, бабы охают и ахают, дети визжат от восторга. Кто-то кричит: «Едет!» Обернувшись, вижу подъезжающую двуколку, а в ней председателя в пиджаке, фуражке и сапогах. Подъехав, он лихо соскакивает на землю, выхватывает из пролётки ружьё и, нагнувшись, между жердей залезает в калду. Подходит близко к быку, который сразу затаился и притих, взводит курки и почти в упор выстреливает быку прямо в лоб.



Бык падает на передние колени, качаясь, валится на бок и, задрав голову, сучит по земле ногами. Поднимается пыль. Из лба фонтаном бьёт густая чёрная кровь, заливает морду, землю вокруг неё.

Мне жалко животное, я хлюпаю носом и со страхом кошусь на председателя, который стоит в задумчивости, держа в руке ружьё стволами вниз. Они дымят. Быку сразу перехватывают горло и начинают свежевать.

– Племенной, зараза... – говорит председатель и, вскочив в пролётку, уезжает.

Мы с Сашком бредём домой. На пути нам попадается телега с задранной коровой. Брюхо у неё пропорото от паха, торчат сломанные рёбра.

– А мне так совсем не стласна, – хорохорится Сашок. – Я б ёво залазу с пулемёта – тла-та-та-та...

\* \* \*

Жарко пылает костёр. В тоскливой дрёме, положа морду на лапы, поскуливает Волчёр, иногда вскидывается, прислушиваясь к ночным крикам пивика, шорохам, ржанию и храпу коней. Жабы заливаются в болотце, лес кажется совсем близким, страшен и тёмен. Я сижую, ткнувшись подбородком в колени. Приятно калит лицо, не оторвать глаз от огня, так и тянет протянуть руку и поймать взивающиеся к небу искры. Ночь такая тёмная, такая тихая, что кажется, кто-то стоит неподалёку в ожидании, когда потухнет костёр. Мы с Сашком сидим рядом с дедушкой. Гриша против нас, по ту сторону костра, лицо его покраснелось, глаза расширились то ли от ужаса, то ли от вранья.

– Ходили летось бабы по ягоды, – говорит он, – да заплутались маненька. Кричат – ау. И им – ау. Оне туды. И приаукали к болоту. Допетрили, что леший их кружит, перепугались до смерти. А сорока над ими: «Тр-р-р, тр, тр...» Чуть живёхоньки из лесу-то вышли.

– Бре-эхня-а, – говорит дедушка. – Никаких таких лешиев нет.

– А домовые?

– И домовых нету.

– Ан есть, Ляксеич. На себе испытал. Лёг это раз в сенях не там, где обычно сплю, так ночь, как придавит, не вздохнуть, не пер... – и глянув на нас: – Ну да... Руки как плети, а он, гад, и трётся своей кошачьей мордой, под ладонь, зараза. Лезет. Насилу отвязался. Маманя баит, не любит, когда в доме непорядок.

– Ты это ври, да не завирайся, – говорит спокойно дедушка.

Кто-то мелькает над самым костром и с писком кидается прочь. Гриша смотрит, вытаращив глаза и разиня рот.

– Аяй!.. А вправду, Ляксеич, бабы сказывают про Ивана Зыбина, что колдун?

– Ванька-то? Дурак, скорее всего, а не колдун, – уверенно отвечает дедушка. – Бабы врут, а ты уши развесил, тетеря.

– Ну не скажи... Помню, раз шёл к нам, а я в окно усёк и перекрестил дверь. Так на воле стал и кричит: «Гришка, подь сюды, дело есть!» – «Ступай, говорю, в избу». «Да плево дело, выдь на минуту!» Я «Живые помощи» про себя давай читать, выхожу, а он – тресь себя по башке: «Хлеб в печи забыл!» – и тягу.

– Мели, Емеля, твоя неделя. Хлеб в печи забыл... Придумает же! Глупее ничего придумать не мог? – по обыкновению равнодушно возражает дедушка. – Ступай за хворостом!

– Ты чё, Ляксеич, не видишь, время какое? Луна над погостом. Леший след спутает, заведёт в болото да утопит.

– Гляди, беда какая! Одним лешим станет больше, а болтуном меньше.

Гриша обижается и отворачивается, с достоинством поглаживая бородку. Но обида вскоре забывается, и он начинает новую историю. Мы слушаем с жадным любопытством, косимся на лес и жмёмся к бесстрашному дедушке. Сашок засыпает. Я никак не могу заснуть, сердечко моё трепещет. Я смотрю на луну, на погост – и на меня нападает ещё ни разу не испытанный страх перед могущественной злой силой, от которой некуда деться...

Но всходит солнце и рассеиваются страхи вместе с темнотой, преображается мир, особенно радостно в нем после жуткой ночи, и костёр, казавшийся недавно единственным спасением, теперь выглядит жалко, как ядовитое пятно на теле земли.

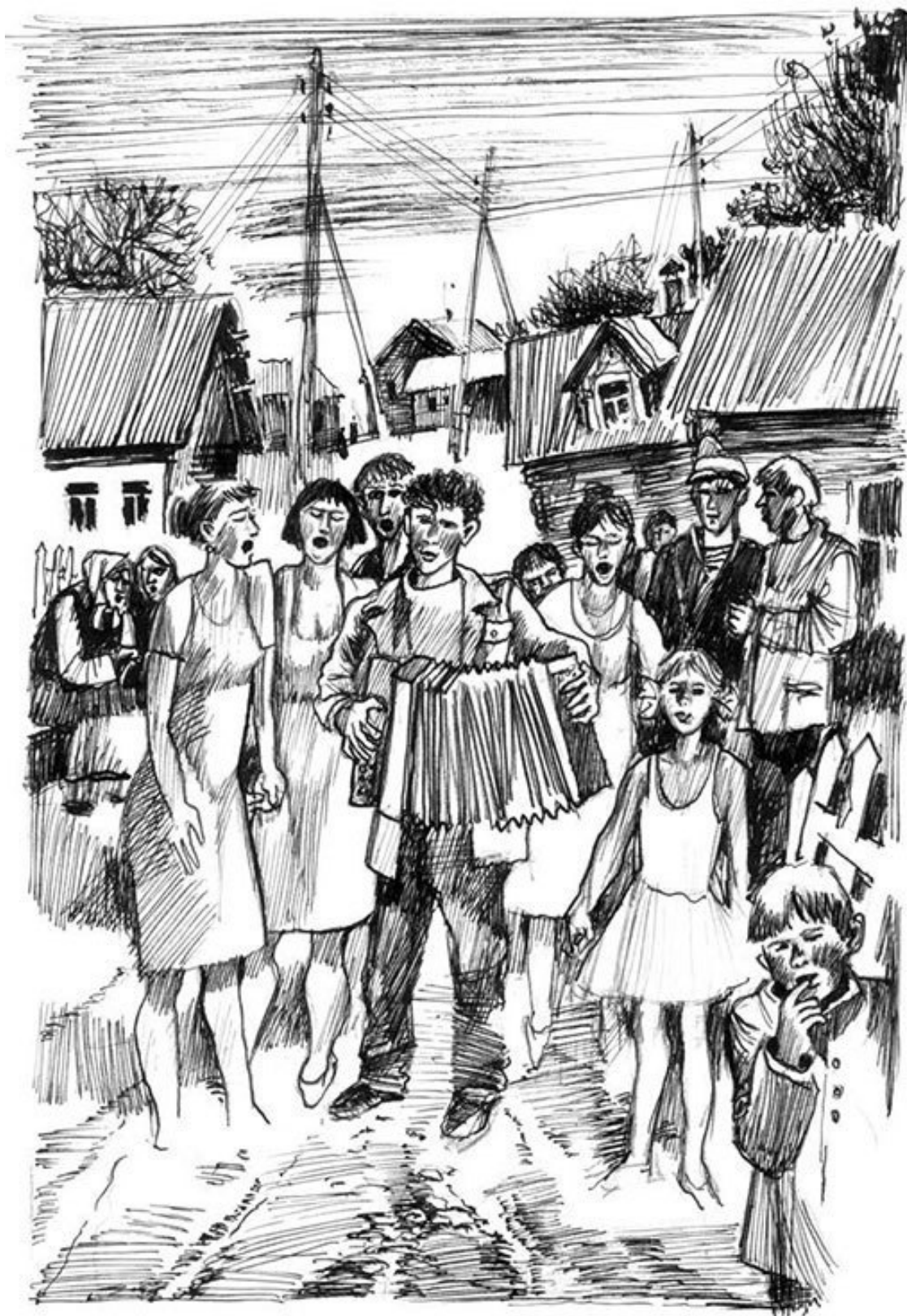
\* \* \*

Солнце перерезано пополам тонким сизым облачком, стоит над самым горизонтом, ниже того места, где расположен верхний порядок. Оно бледно-розовое, призрачное, печальное, тихое. Лёгкие сумерки, ни ветра, ни шороха. С той стороны, где мы с Сашком предполагали город, отдалённо доносятся весёлые девичьи голоса и переборы гармонии. Это из соседней деревни идёт в нашу на гулянье молодёжь.

Мы с Сашком сидим на крыльце Светланкиного дома. Светлана в чистом платье и всё поглядывает на меня. Весёлая процессия входит в деревню. Девки идут, взявшись под руки, во всю ширину. В середине высокая, чернобровая, черноволосая, не знаю, как её звать, и назову хоть Шурочкой. Голос её сочный, густой. Парни точно так же, только не под руки, идут следом. Гармонист между рядов. По ту и другую стороны, кто на завалинках, кто на лавках или как мы на крыльце, сидят старики и старухи. Точнее, почти одни старухи-вдовухи, потому что стариков в деревне всего пять.

Поют частушки в основном девки, парни отвечают редко, а вот семечки грызут бойко.

*У милёнка моего  
Поговорочка на «о».  
Он на «о», и я на «о»,  
Всё равно люблю ёво!*



Сашок лыбится во всю ширину рта. Светлана не переставая косится на меня – и меня это начинает беспокоить.

*Гармонисту за игру —  
Табуретку синюю.*

*Четыре сына, восемь дочек  
И жену красивую.*

Парни смеются. Светланка ёрзает и будто нечаянно задевает меня плечом. Я отодвигаюсь, показываю ей кулак и говорю: «Ещё раз толкнёшь, получишь!» – «Сам получишь!»  
Хриплым пропитым голосом запекает гармонист:

*У меня девчонок много,  
Как в корзиночке грибов.  
Только я с одной имею  
Настоящую любовь.*

Ему тут же отвечают:

*Гармонист у нас хороший,  
Я его приворожу:  
Я возьму и на гармошку  
Две ромашки положу.*

Дойдя до конца деревни, возвращаются назад. И так до наступления темноты. Солнце давно уже скрылось за холмом, стала темнее полоска леса, показываются звёзды. Кое-где уже светятся едва приметным заревом оконца. По одному расходятся старики и старухи. Песни тонут где-то за деревней. Мы с Сашком идём домой. И я очень рад, что, наконец, избавился от Светланкиного внимания. Мы спускаемся проулком и выходим на зады. Вдруг Сашок замирает и шепчет:

- Слысье?
- Чего? – шепчу и я.
- Сопот слысье?

Спускаемся ниже. За усадями, в бурьяне, стоит с кем-то Шурочка. Я сразу узнал её по голосу.

- Ты ай белены объелся? – говорит она кому-то.
- Шёпот. Возня. Шлепок.
- Ой! Ктой-то там?

Мы с братцем летим вниз, и ноги мои едва за мной поспевают. Вслед нам летит разбойничий свист. Мы перебираемся по жердям на ту сторону, и на родном берегу мне становится спокойнее.

- Чего это они там? – спрашиваю я.
- Зазымаюца.
- Зачем?
- Ну спелва зазымаюца, апосля зеняца.

\* \* \*

Едем в лес за сеном. Бежит вдоль ржаного поля пепельная лента дороги. Лошадь идёт бодрым шагом, ровно катится по мягкой пыли телега. Пыль летит из-под копыт, брызжет в стороны. По ржи волнами ходит ветер, приятно обдувает лицо, шею, и если бы не строка, было бы полное блаженство. Откуда-то сверху льётся пение жаворонка. Задираю голову и вижу крохотную дрожашую в небе точку. Правит Сашок, и время от времени покрякивает, как

взрослый: «Посла! Но, лазлази тибя глом! Я кому говолю? Посла, говолю! Халела!» Я сизу рядом и краем уха слышу разговор деда с дядей.



– Я тебе, Степан, давно не указ, у самого дети малые, но как отец всёж-ки скажу. Коли в избу пустить свинью, она своё поганое дело сделает. Всё вверх дном перевернёт, всё опрокинет.

А и выгонишь, не сразу порядок наведёшь. Так и в жизни, Степан. Мотри. Не пушай свинью в душу. Семья – дело святое. А с этим шутки плохи. Мотри, Степан...

Дядя сидит явно недовольный и всё отворачивается от дедушки. И когда отворачивается, рот его кривит нехорошая улыбка.

В лесу ветра нет и на поляне очень жарко. Звонко-оглушительно стрекочут кузнечики, поют птицы, стучит в отдалении дятел. Пока навивают воз, мы собираем конопатые ягоды луговой земляники, пресной, хрустящей на зубах, как песок. Потом забираемся наверх, на дрожашую громаду пахучего сена и, уцепившись за гнёт, смотрим по сторонам. На возу так высоко, что ступни ломит от страха.

\* \* \*

Дедушка только что вычистил самовар и, сидя на крылечке, поглаживая сияющее на полуденном солнце самоварное брюхо, рассуждает вслух:

– Самовар – незаменимая вещь в избе. Ишь как блестит! Ну, блести, блести, милоч... Вот, к примеру, на морозе назябнешь, пришёл домой – а на столе самовар сипит. Хошь руки об ёво грей, хошь выпей весь. А после бани? После бани без самовара тоска. А вода в ём от берёзовых углев, знаете какая лёгкая? Пьёшь и всё хочется.

Мы с Сашком не возражаем. За самоваром бабушка нас одаривает колотым сахаром, а по праздникам – «подушечками» и «печенюшками».

Когда дедушка уносит самовар, мы идём за дом, где в специально вырытой квадратной, на штык глубиной канаве тётушка месит ногами грязь – глину, солону и песок. Потом накладывает месиво в ведро и кидает рукой на плетёную из тальника стену хлева. Брызги отлетают мне в лицо, прилипают и тут же засыхают щекочущими коростами.

Появляется дядя.

– Помочь? – спрашивает он, весело-виновато бегая туда-сюда глазами.

Хочет отнять у тётушки ведро, она со всей силы дёргает его на себя, оступается и чуть не падает.

– Чё цепляйся? – кричит она, раскрасневшись. – Ишь вцепился клешнями-то, как в своё!

– А то – чужое... – ненастойчиво возражает дядя.

– Сказала бы я тебе, да дети рядом!

Дядя будто только теперь замечает нас.

– Это откуда взялось? А ну марш отсель! Марш, кому говорю?

Мы удаляемся с повёрнутыми назад головами.

\* \* \*

– Ну и посол в оголот к бауски под юбку! – говорит с презрением Сашок, и я соглашаюсь. По дороге братец уверяет меня, что мёд там хоть ложкой черпай.

– Я узэ, навелна, целое ведло созлал! – говорит он и подтягивает штаны.

Сползают они у него вовсе не оттого, что широки, а оттого, что живот у него постоянно то надувается, то опадает, угадать невозможно. Ест же он всё подряд, без разбору. И всякий раз, похлопывая себя по животу, приговаривает: «В лусском пузе всё сгниёт!» И, по словам бабушки, ни одна холера его не берёт.

– А если он нас в свиней превратит?

Я боюсь не столько пчёл (я ещё не знаю, что они жалят), сколько колдовских чар Ивана Зыбина, на пасеку которого мы направляемся есть мёд.

– А клест на сто? – храбрится Сашок. – Мы яво клестом, он и сдохнет, как сильвяк!

Улы на задах, у плетня, заросшего с нашей стороны репейником, конским щавелём, крапивой, лебедой, беленой. Кое-как минуем ферму, извозившись попутно в навозе, и пробираемся через бурьян к огороду. Какая-то пчёлка проносится мимо, потом ещё одна и ещё. Добравшись до плетня, я слышу мерное гудение. И тут разом кончается геройство моего брата. Он хватается за голову и, отмахиваясь руками, с визгом кидается назад. Пчёлы за ним. Я приседаю в надежде, что беда минёт стороной, но тут словно иглой колют мне под правый глаз. Пчела отрывается и начинает тяжело подыматься. Я вскрикиваю от боли и бегу следом за братом. Пчёлы носятся над нами, бьют в голову, в шею, путаются в волосах, жалят. Если бы не высокий бурьян, нам пришлось бы туго.

Домой возвращаемся с воем. Голова моя становится деревянной, словно кто сдавливает её со всех сторон. Глаз совсем заплыл, щёку тянет вниз и, как что-то прилепленное, она трясётся при ходьбе. Изверга тут же наказывают, а меня стыдят:

- А ежели он тебе в печь велит лезть, полезешь?
- Не-е, – реву я, – в печь не полезу-у...
- И на том спасибо, – говорит дедушка. – Поди, жала выну.

\* \* \*

Двое нас в комнате – я и Светланка. Почему мы вдвоём и никого больше нет, не знаю. Нам скучно, мы уже во всё переиграли и не знаем, во что бы ещё поиграть.

- В жениха и невесту давай играть? – предлагает Светланка.
- Как?
- Эх, очень даже абныкнавенна. Ты будешь жених, а я невеста, и мы поженимся.
- Как?
- Эх, очень даже абныкнавенна, как все люди женица.
- Как?
- Очень даже абныкнавенна! Ты меня любишь? Ну говори, говори...
- Я не знаю.
- Как это ты не знаешь, ежели ты жених? Смешно даже. Ну? Говори.
- Чего?
- Я тебя люблю.
- Я тебя люблю.
- Ой, и я тебя тоже... Ну? Чего молчишь? Говори.
- Чего?
- Давай поженимся?
- Я повторяю.
- Давай... Ну? Чего стоишь-то?
- А чего делать-то?
- Как это – чего? А целовать кто невесту будет? Дядя?
- Я не хочу.
- А зачем тогда говорил, что любишь?
- У тебя рот шершавый.
- А ты шибздик!
- А ты дура!
- А я тебя выше! – и она встаёт на цыпочки рядом со мной.
- Я тоже встаю на цыпочки.
- Нет – я.

Спор заканчивается борьбой. Я побарываю Светланку, оседлав, раскладываю её руки во всю ширину. Она почти не сопротивляется.

– Ну, кто выше?

Она начинает хлюпать носом. Я спрашиваю: «Ты чего, больно что ли?»

– Всё, – отвечает она, продолжая хлюпать, – залетела.

Я отпускаю её руки, оборачиваюсь на открытую форточку, но не вижу того, что «залетело». Подымаюсь. Светланка садится и, поджав худые ножки, объявляет:

– Теперь меня точно убьют.

Я не понимаю, что и куда залетело и почему её за это должны убить, и спрашиваю её об этом.

– Эх, ты что, ля-ля что ли? Ни что залетело, а я залетела. И теперь у меня будет расти живот, и я рожу. А как мы не по-правдашному ещё жених и невеста, меня сразу убьют.

Я хочу возразить, что детей «надувает ветром», но понимаю, что, верно, это не так, и смотрю на Светланку в ужасе. Не могу представить ее тощую фигурку с животом. Она встаёт и одёргивает платице.

– Тошнит штой-то... – говорит она поморщившись.

– Может, съела чего?

– Эх! Чай беременных со всего тошнит.

Приходит её мама, и мы садимся за стол. Мне хочется рассказать, как мы здорово играли в жениха и невесту, но вспоминаю, как Светланка сказала, что её убьют, и молчу. Мы едим, и я всё посматриваю на «неправдашную невесту» в ожидании, когда её начнёт тошнить, как недавно дядю Степана с перепоя, но Светланка уплетает за обе щёки, и я прихожу к выводу, что она меня обманула, но и в то, что детей «надувает ветром», я уже больше не верю.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.